

НАДО было, наверно, прожить долгую, почти восьмидесятилетнюю жизнь, чтобы написать о своей памяти так: «Память — как длинная прерванная нить. Когда я пишу, я все время словно бы пробуждаюсь ото сна в надежде, что вот-вот схвачу образ, который потянет за собой целой, непрерывный сон. Но фрагменты сна остаются фрагментами, а цельная, случившаяся во сне история ускользает...»

Это написал знаменитый англичанин Грэм Грин в автобиографической книге «Этакая жизнь», вышедшей в 1971 году. В словах писателя — усталая мудрость и печальное осознание невозможности целостного реконструирования прошлого из хрупких разрозненных обломков памяти. Тем не менее Грин после длительного перерыва все-таки попытался сделать это снова и в прошлом году выпустил продолжение своей автобиографии под заглавием «Пути бегства».

Почему книга названа так? Убедительного объяснения у меня нет. В своем шумевшем романе «Рэгтайм», смешивающем фактологические приемы Дос Пассоса и фантазмагорию, американский писатель Доктору вспоминает человека, сделавшего «эскапизм» своей профессией, — фокусника Гудина. Гудини засовывают в банковские сейфы, заковыкают в кандалы Синг-Синга, прячут в холодильники, но он отовсюду магическим образом удирает.

Грэм Грина, несмотря на название его автобиографии, эскапистом никак не назовешь. Блистательная язвительная сатира «Нашего человека в Гаване», едкая горечь «Тихого американца», трагическое сострадание «Сути дела», наконец, ужас гаитянской тирании в «Комедиантах» — разве это бегство от действительности? В своем последнем романе «Доктор Фишер из Женеви, или Вечеринка с бомбой», еще, к сожалению, незнакомом советскому читателю, Грин, по его собственному выражению, производит безжалостное «исследование предела жадности» богатых. Моральная опустошенность миллионера, сколотившего себе состояние на зубной пасте и окружившего себя мафией приживал, описана с беспощадной иронией, перерастающей в гражданственную сатиру. Дочь Фишера находит убийственное определение для этой мафии — «жабы». Доктор Фишер — это, по сути, послегитлеровский гестаповец, с извращенным сладострастием пыгающий окружающих своими патологическими забавами.

Грэм Грин отнюдь не гнушается вмешиваться в вопросы текущей политики и в публицистических выступлениях, и в речах, и в маленьких, ядовито вежливых письмах в редакции газет по многим поводам — не исключая его определенного гражданского отношения к кровавым расправам в Сальвадоре. Далеко не со всеми высказываниями Грэма Грина можно согласиться, но в одном его обвинять нельзя — в собственном равнодушии к раздираемому противоречиями, очень еще не совершенному, но все-таки нашему общему миру.

Вот и сейчас, когда, по его любезному согласию дать интервью для «Литературной газеты», я прилетел в городок на юге Франции — Антиб, где сейчас живет и работает Грэм Грин, писатель после традиционного английского вопроса о здоровье моей жены и детей, без каких-либо подталкиваний с моей стороны, заговорил о ханжестве реакционных западных кругов, молчавших об ужасах полотовского геноцида, а сейчас ополчившихся на новое кампунийское правительство. С загоревшимися глазами рассказывал Грэм Грин о

интервью, но он когда-то сам был журналистом и скрепя сердце иногда мирится с этим как с неизбежным злом.

А у меня случилась авария. Друзья подарили мне японский мини-магнитофон, чудо современной техники, и он никак не хотел включаться. Это, однако, не вызвало у Грина никакого раздражения. Он принял живейшее участие в кропотливом изучении инструкции и в нажимании на разнообразные кнопки, но, несмотря на свою службу в прошлом в военной разведке, оказался, как и я, полным профаном в звукозаписывающем оружии. Словом, все развивалось по «Нашему человеку в Гаване». Была суббота, и единственной открытой мастерской в Антибе оказалась фотомастерская, хозяин которой, дружески поздоровавшись с Грино, начал, несмотря на свое полное невежество, копаться в магнитофоне. Возникли другие вспомогательные персонажи — хозяин мебельного магазина, перемазанный известным маляр, зеленщик из соседней лавки. Маляр оказался самым инстинктивно мудрым — его выручило незнание английского

языка, и он, нажав кнопку с надписью «off», обозначающей выключение, заставил ленту в кассете зашевелиться. Мы были потрясены, а потом соображали, что какой-нибудь японец на конвейере, тоже не знающий английского, перепутал кнопки.

Лента двигается, — смеясь, проанализировал ситуацию Грин. — Но будет ли магнитофон записывать? Вы, Женея, — это «наш человек в Антибе».

Я боялся поверить в удачу, боялся крутить ленту обратно. Положение было безвыходное. Если записывать от руки, можно уловить главное, но потерять какой-нибудь нюанс. А главное иногда — именно в нюансах. Мы вернулись в квартиру Грина, не останавливая магнитофона. В случае незаписи японский магнитофон грозил мне моим личным Пирл-Харбором, но я начал интервью.

— В книге «Этакая жизнь» вы приводите ваше первое интервью, данное в детстве «Школьной домашней газете». Тогда вам было семь лет, и на вопрос «Ваша любимая цитата?» вы ответили: «Мне бы двух товарищей — и я удержу врага». Остается ли эта цитата любимой?

Грин недоверчиво глянул сквозь стеклышко магнитофона. Но лента крутилась.

— Это цитата из «Песен древнего Рима» Маколя. Там есть эпизод о воине, который держался в одиночку против множества врагов на берегу Тибра. Эпизод тронул мое мальчишеское воображение. Но это было так давно...

Я продолжал: — Много лет назад, в бытность оxfordским студентом, вы выпустили свою единственную книгу стихов, которую мне не удалось прочесть...

жение: «Поэзия — это то, чего нельзя высказать прозой». Согласны ли вы с ним?

Грин кивнул: — Совершенно верное определение. В том моем маленьком сборничке только несколько вещей, которые я не мог бы выразить прозой, и именно поэтому он так плох.

— А какие, на ваш взгляд, у поэзии преимущества перед прозой, и наоборот?

Грин задумался: — У поэзии большая напряженность. Это как фотография, когда моментальной вспышкой создается очень четкий, ясный образ...

— У процитировал Пастернака: «Сто спящих фотографий ночью снял на память гром». Грин прокомментировал:

— Поэзия — это фотографии невидимого. — В литературе существует и ретроспективное фотографирование. В ваших двух автобиографических книгах вы сумели сфотографировать даже запахи, связанные с определенными периодами жизни. Таким образом, и проза, даже мемуарная, может обладать свойствами поэзии. Память настойчиво тянет нас к местам,

где мы были. Однако эпиграфом к своей автобиографии вы взяли слова Кьеркегора: «Только разбойники и цыгане гоарят: человек никогда не должен возвращаться туда, где уже побывал». По моему, это неточно, даже по отношению к преступникам. Вспомним хотя бы Раскольникову.

Грин пожал плечами: — Но его возвращение на то место, где он убил старуху, лишь естественно доказывает страх вернуться туда. Когда Раскольников приходит на то же самое место, он страдает от своего возвращения, не так ли? Так что страх, можно сказать, тоже аргумент против возвращения...

— В ваших мемуарах вы написали: «Посмотрите, каким глупым я был в молодости». Но иногда мы можем быть преступно глупыми, а иногда очаровательно глупыми. Вспомним французское выражение: «О, если бы молодость знала, о, если бы старость могла!» Мудрость, разум, опыт — это тоже своего рода мощь. Как вы считаете, в чем ваша сила сейчас по сравнению с юностью?

пишет для человечества, он бес-совестно старается помочь самому себе. Не в смысле делания денег, разумеется... Не остановился ли наш магнитофон?

— Вы тридцать третьем, в год прихода Гитлера к власти, вы написали эссе о Хансе Кристиане Андерсене. Помните, как девочка Герда мужественно сражается за сердце своего брата, оледеневшего от дыхания Снежной Королевы...

Грин засмеялся: — Я совсем позабыл эту мою статью. И сказку почти тоже... Хотя нет... Припомню... — Фашизм — это своего рода оледенение сердца. Чувствовали ли вы тогда, в тридцать третьем, опасность мировой войны, которую может принести фашизм?

Грин посерьезнел: — Да, я чувствовал такую опасность с тридцать третьего по тридцать девятый. Чувствовалось, что будет война. Мы все жили под ее тенью. Эта тень ощущалась тогда гораздо

больше, чем сегодня. Сейчас есть ядерная угроза. Она страшна для нового поколения, которое, возможно, будет ощущать эту угрозу в течение всей жизни. Но я лично не чувствую себя под такой же абсолютной неизбежной тенью, как между тридцать третьим и тридцать девятым...

— Считаете ли вы, что новый мировой войны можно избежать?

— Да, я еще продолжаю верить в то, что ее можно избежать. А в тридцать третьем у меня такой веры не было... Я задал вопрос, на который нелегко ответить: — Что, на ваш взгляд, является причиной мировых войн?

Грин отвечал медленно, как бы находя ответ опытно: — Перед началом второй мировой войны был сумасшедший, который каким-то образом овладел воображением многих людей. Безумие передалось от одного к другому, как истерия. Вы не наблюдали никогда, как чья-то истерия начинает вас всасывать в свой вихрь? Так Гитлер, этот сумасшедший, втягивал людей в вихрь своей истерии. Но сегодня, к счастью, у нас нет ничего подобного...

Я не совсем согласился: — Но втягивание народов в войну — хотя бы «холодную» — все-таки существует. Ныне «холодная война», как Снежная Королева, — она тоже по-прежнему ведет к оледенению

В своем ответе Грин был четок: — Я бы чувствовал себя лично виноватым в каждом случае, если бы не выражал своего протеста против несправедливости. В этом смысле я признаю необходимость «посланий».

Я напомнил: — В тридцать третьем, в год прихода Гитлера к власти, вы написали эссе о Хансе Кристиане Андерсене. Помните, как девочка Герда мужественно сражается за сердце своего брата, оледеневшего от дыхания Снежной Королевы...

Грин засмеялся: — Я совсем позабыл эту мою статью. И сказку почти тоже... Хотя нет... Припомню... — Фашизм — это своего рода оледенение сердца. Чувствовали ли вы тогда, в тридцать третьем, опасность мировой войны, которую может принести фашизм?

Грин посерьезнел: — Да, я чувствовал такую опасность с тридцать третьего по тридцать девятый. Чувствовалось, что будет война. Мы все жили под ее тенью. Эта тень ощущалась тогда гораздо

больше, чем сегодня. Сейчас есть ядерная угроза. Она страшна для нового поколения, которое, возможно, будет ощущать эту угрозу в течение всей жизни. Но я лично не чувствую себя под такой же абсолютной неизбежной тенью, как между тридцать третьим и тридцать девятым...

— Считаете ли вы, что новый мировой войны можно избежать?

— Да, я еще продолжаю верить в то, что ее можно избежать. А в тридцать третьем у меня такой веры не было... Я задал вопрос, на который нелегко ответить: — Что, на ваш взгляд, является причиной мировых войн?

Грин отвечал медленно, как бы находя ответ опытно: — Перед началом второй мировой войны был сумасшедший, который каким-то образом овладел воображением многих людей. Безумие передалось от одного к другому, как истерия. Вы не наблюдали никогда, как чья-то истерия начинает вас всасывать в свой вихрь? Так Гитлер, этот сумасшедший, втягивал людей в вихрь своей истерии. Но сегодня, к счастью, у нас нет ничего подобного...

Я не совсем согласился: — Но втягивание народов в войну — хотя бы «холодную» — все-таки существует. Ныне «холодная война», как Снежная Королева, — она тоже по-прежнему ведет к оледенению

работа — писать о любом случае несправедливости, когда мы в состоянии хоть чем-то помочь. Я не думал, что мы должны выдвигать себя, по выражению Шелли, в «непризнанные законодатели мира» или что-то в этом роде...

— Мне кажется, что великие писатели, независимо от того, выдвигали они себя на эту должность или нет, все-таки становятся нравственными законодателями, — ответил я. — Хотя среди писателей, к сожалению, есть и законодатели безнравственности... Вы когда-то с презрением процитировали слова детективного романиста Эдгара Уоллеса: «Я ненавижу британского рабочего. У меня нет никакой симпатии к нему. Жив он или умер, голодает или страдает от жажды — это не представляет для меня никакого интереса». Как мог человек, называющий себя писателем, быть таким бессердечным, таким высокомерным к трудящимся людям?

Грин безглаголиво поморщился при уоллесовской цитате: — Он был очень посредственный писатель. Я бы даже сказал, писатель низкого качества. Он написал единствен-

ное хорошее произведение — «Четверо справедливых».

— К сожалению, такие уоллесы существуют. Вы точно когда-то определили их: «Вместо настоящих художников в литературе у нас еще есть явление, словно бы вышедшее из-под пера Бальзака, — живые книжные фабрики». Есть, например, целая промышленность порнографии.

Грин усилит мою реплику: — Существует порнография не только сексуальная, но и порнография насилия, которую мы часто видим в кино, по телевидению. Сексуальная порнография по сравнению с этой даже безобидна. Порнография насилия страшно развращает: люди, которые видят на экранах порнографию насилия попеременно с кровавыми событиями в Сальвадоре или Северной Ирландии, приобретают опасную привычку к созерцанию убийств.

Я переменил тему: — Существует литературная мегаломания, попытка создания сверхчеловека. Вспомним хотя бы Ницше или гиперболизированные страсти по Габриэлю Д'Аннунцио. Противоположное направление — это защита так называемого «маленького человека» — например, Чехов. Можно ли называть одних людей великими, а других — маленькими?

По ответу Грина было ясно, что он и раньше много думал об этом.

щение моих неудач с так называемой «высоты успеха».

Я спросил: — Опасно ли для писателя ощущение собственного величия, даже если оно не мнимое? Грин был последователен: — Думаю, да. Для Д. Лоуренса было губительно то, что он все время думал о своей гениальности. Он был испорчен сознанием своего величия. Он был бы гораздо лучшим писателем, если бы не ощущал на своей голове диадему...

— Наверно, то же можно сказать о Скотте Фицджеральде? — Да, наверно. На самом деле он написал только один прекрасный роман... — А каких писателей вы предпочитаете? Мастеров отточенной фразы или тех, кто вращает большие глыбы?

Грин ответил без промедления: — Мой идеал — Чехов. Он умел и то, и другое. — Каково, на ваш взгляд, сейчас положение в английской литературе?

Грин на сей раз долго раздумывал: — У нас есть несколько хороших писателей. Не думаю, чтобы в любом поколении их существовало больше, чем несколько. Я уважаю Энтони Паулла, хотя он, как выра-

жаемся мы, англичане, не моя чашка чая. Нравится мне Брайан Мор — ирландский писатель, живущий теперь в США. Очень трудно говорить о живых, когда невольно думаешь о тех, кто еще только вчера был жив. Я очень высоко ценю Ивлину Во...

— А английские поэты? — Многим не нравится книга Теда Хьюза «Вороны». А вот мне понравилась. Люблю Филипа Ларкина. Но никто еще не заменил ушедших Одена и Элиота. — Почему английские читатели так мало покупают поэтические книги? Грин вздохнул: — Видимо, потому, что они не считают поэзию частью своей жизни.

Писатель должен обладать огромным терпением. Писатель должен ясно осознавать, что его профессия будет причинять ему боль, а иногда швырять его в одиночество. Это та профессия, когда человек изо всех сил старается, одновременно создавая, что ему мало что удастся. Одно из самых болезненных ощущений — когда переставишь быть молодым писателем и чувствуешь тяжесть возраста. Очень опасно начать копировать самого себя, как это случилось с Хемингуэем. Копирование его разрушило. Еще одно болезненное состояние — когда не пишется. Я очень люблю венгерского писателя коммуниста Тибора Дери. Мы познакомились когда-то на одной вечеринке и сразу понравились друг другу, заговорив о том состоянии, когда не пишется. Я спросил его: «Страдаете ли вы в такие минуты?» Он ответил: «Еще как! Мне не пишется уже десять дней». Я засмеялся: «Божье мое, мне не пишется уже полгода». Он мне тогда посоветовал: «Садитесь в утреннее время за стол, берите ручку и белый лист бумаги, выньте большой стакан виски и начинайте писать все, что придет в голову...» Конечно, это шутка. Не начинайте писать, если можете не писать. Не старайтесь быть писателем. То же самое я сказал бы человеку, который во что бы то ни стало хочет быть священником: «Не старайтесь стать священником, если можете им не стать». Не пишите без чувства необходимости. Но если оно возникло и не уходит, надо четко понять, что впереди очень трудная жизнь. Может быть, профессия писателя сделает вашу жизнь более комфортной, но никакой внешней комфорт не сможет смягчить тяжесть ваших страданий от вичутренних неудач... Ну вот, кажется, и все. Да и пленка, кстати, кончилась...

— Назовем интервью так: «Не старайтесь стать священником», — предложил я. Грин засмеялся: — Подумают, что это антирелигиозная статья. Впрочем, давайте. А не попадет ли вам от редакции, если интервью не записалось? — Интервью, к счастью, записалось. В самолете я со страхом нажал кнопку воспроизведения и услышал свой чудовищный английский попеременно с гриновским оксфордским

— А кто виноват в нечитаемости английской поэзии — сами поэты или читатели?

Грин помедлил: — Думаю, что и те, и другие. Видимо, это связано с системой образования... Я пришел в поэзию, потому что я из читающей семьи. В нашем доме было очень много книг. Мой отец любил Броунинга, и я перенял от него эту страсть. Она была началом моей любви к поэзии. Впрочем, некоторые люди не хотят читать даже прозу. Я думаю, что во многом тут виновато телевидение. Оно отучает от самостоятельного чтения...

— Довольны ли вы экранизациями ваших книг? — Те сценарии, которые писал я сам, были все-таки лучше чужих сценариев по моим книгам. «Брайтонский леденец» был сильно искажен английской цензурой, «Комедианты», «Павший идол», «Наш человек в Гаване» получились на экране сносно. А вот «Тихий американец» по чужому сценарию — ужасный фильм. Они изменили буквально все. Англичанин превратился в одуряченного коммунистами. Американец стал героем. Совершенно бесчестная версия...

— Какие писатели мира интересуют вас сегодня больше всего? — Латиноамериканские. Недавно умерший кубинец Алоис Карпентьер, Борхес, Маркес, Кортасар...

Пленка подходила к концу. Я боялся перевернуть ее на другую сторону, ибо ждал всяких неприятностей от нового соприкосновения с японским чудом.

— Я замучил вас своими вопросами, — сказал я Грину. — Последний вопрос, а вернее — просьба. Закончим интервью вашим «посланием» начинающим писателям. Я думаю, им был бы важен ваш совет...

Грин пытался вежливо уклониться: — Я же вам говорил, что не люблю «посланий»... Кроме того, не чувствую себя вправе давать советы молодым русским писателям, потому что недостаточно знаю условия их жизни. — А начинающим писателям вообще? Грин понял, что моя просьба неумолима, и сосредоточился. Вот что сказал он в заключительные минуты нашей беседы:

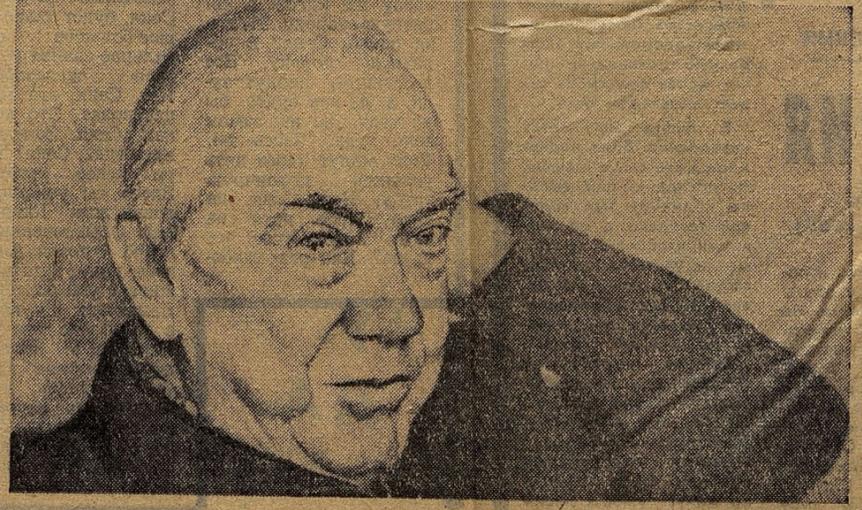
— Это кто? — спросил он, услышав голос Грина. — Грэм Грин, английский писатель. — А кто другой? — Это я... — А ты знаком с ним? — Как видишь. — Я читал его «Наш человек в Гаване». Хорошо пишет... Сколько ему лет? — Семьдесят шесть. — Скажи ему, пусть привезет...

Евг. ЕВТУШЕНКО

# « НЕ СТАРАЙТЕСЬ

## СТАТЬ

# СВЯЩЕННИКОМ... »



...иногда фактически...  
...Дос Пассо и фантазма-  
...горию, американский писатель  
...Доктору вспоминает челове-  
...ка, сделавшего «эскапизм»  
...своей профессией, — фокусни-  
...ка Гудини. Гудини засовывают  
...в банковские сейфы, заковыла-  
...ют в кандалы Синг-Синга, прячут  
...в холодильники, но он  
...отовсюду магическим образом  
...удирает.

Грама Грина, несмотря на название его автобиографии, эскапистом никак не назовешь. Блистательная язвительная сатира «Нашего человека в Гаване», едкая горечь «Тихого американца», трагическое сострадание «Сути дела», наконец, ужас гаитянской тираннии в «Комедиантах» — разве это бегство от действительности? В своем последнем романе «Доктор Фишер из Женеви, или Вечеринка с бомбой», еще, к сожалению, незнакомом советскому читателю, Грин, по его собственному выражению, производит безжалостное исследование предательства жадности богатых. Моральная опустошенность миллионера, сколотившего себе состояние на зубной пасте и окружившего себя мафией приживал, описана с беспощадной иронией, перерастающей в гражданственную сатиру. Дочь Фишера находит убийственно определенное для этой мафии — «жабы», Доктор Фишер — это, по сути, послегитлеровский гестаповец, с извращенным сладострастием пыгающий окружающих своими патологическими забавами.

Грама Грин отнюдь не гнушается вмешиваться в вопросы текущей политики и в публицистических выступлениях, и в речах, и в маленьких, ядовитых вежливых письмах в редакции газет по многим поводам — не исключая его определенного гражданского отношения к кровавым расправам в Сальвадоре. Далеко не со всеми высказываниями Грама Грина можно согласиться, но в одном его обвинить нельзя — в собственном равнодушии к раздираемому противоречиями, очень еще не совершенному, но все-таки нашему общему миру.

Вот и сейчас, когда, по его любезному согласию дать интервью для «Литературной газеты», я прилетел в городок на юге Франции — Антиб, где сейчас живет и работает Грэм Грин, писатель после традиционного английского вопроса о здоровье моей жены и детей, без каких-либо подталкиваний с моей стороны, заговорил о ханжестве реакционных западных кругов, молчаливых об ужасах поллотозного геноцида, а сейчас ополчившихся на новое кампучийское правительство. С загоревшимися глазами рассказывал Грэм Грин о молодой сандинистской Никарагуа, где недавно побывал, о школьниках, поднимающихся в горы, чтобы ликвидировать неграмотность крестьян. На главном листе машинописной рукописи, лежавшей на столе писателя, я заметил слово «Сомоса», но спросил Грина, его ли собственная эта рукопись или чужая, я постеснялся, а сам он об этом не заговаривал.

Седой, сухощавый, высокого роста, с обсыпанным коричневыми крапинками лицом, с шелушащимся от загара носом, Грин вовсе не выглядел на свои 76 лет. Искорки, светящиеся в его неутомимо любопытных ярко-голубых глазах, отвлекали внимание от морщин у него на лбу и краснозато-кирпичной щеке. Особая черта Грина — это, пожалуй, его любопытство к собеседнику и, в отличие от многих наших коллег, желание больше услышать, чем сказать. Без этой черты вряд ли удалось бы Грину создать такую галерею собирательных и документальных образов. Еще одна черта: он не любит говорить лишних слов. Говорит просто, только по делу.

Впрочем, так же он и пишет. Грин живет один в крошечной духонатной квартирке с балконом, выходящим к морю. В квартире тоже ничего лишнего. Я заметил только одну картину — кисти его друга, кубинского художника Рене Портокаррера. Грин работает каждый день. Пишет я день, как он сам сказал, не больше трехсот слов. Может показаться, что это мало, но почти каждый год получается новая книга. Не любит давать



языка, и он, нажав кнопку с надписью «off», обозначающей выключение, заставил ленту в кассете зашевелиться. Мы были потрясены, а потом сообразили, что какой-нибудь японец на конвейере, тоже не знающий английского, перепутал кнопки.

— Лента двигается, — смеясь, проанализировал ситуацию Грин. — Но будет ли магнитофон записывать? Вы, Жена, — это «наш человек в Антибе».

Я боялся поверить в удачу, боялся крутить ленту обратно. Положение было безвыходное. Если записывать от руки, можно уловить главное, но потерять какой-нибудь нюанс. А главное иногда — именно в нюансах. Мы вернулись в квартиру Грина, не оставившая магнитофона. В случае незаписи японский магнитофон прозлив мне моих личным Пирл-Харбором, но я начал интервью.

— В книге «Этакая жизнь» вы приводите ваше первое интервью, данное в детстве «Школьной домашней газете». Тогда вам было семь лет, и на вопрос «Ваша любимая читатая?» вы ответили: «Мне бы двух товарищей — и я удержу врага...» Остается ли эта читатая любимой?

Грин недоверчиво глянул сквозь стеклышко магнитофона. Но лента крутилась.

— Это цитата из «Песен древнего Рима» Макколя. Там есть эпизод о воине, который держался в одиночку против множества врагов на берегу Тибра. Эпизод тронул мое мальчишеское воображение. Но это было так давно...

Я продолжал:

— Много лет назад, в бытность оксфордским студентом, вы выпустили свою единственную книгу стихов, которую мне не удалось прочесть...

Грин улыбнулся уголками губ:

— Это было очень плохо. Теперь, правда, книга стала редкостью, и у букинистов стоит около 250 фунтов стерлингов.

— А сколько экземпляров было продано?

— Триста... — Грин помедлил и добавил: — К счастью, это был весь тираж...

— Наш поэт Некрасов когда-то пытался скопить весь тираж своего неудачного сборника «Мечты и звуки». Если бы вам представилась возможность, согласились бы вы на переиздание?

— Забавно, что именно сейчас я подготовил избранные стихи для переиздания небольшого тиражом. В книгу войдут серьезные и шуточные стихи, написанные за многие годы.

— А вы могли бы предложить что-нибудь для русского перевода?

Грин задумался, покачал головой:

— Ну, пожалуй, стихотворения три... Одно из них про «русскую рулетку». (Описанная Лермонтовым в повести «Фаталига» игра со смертью, когда к виску прикладывается пистолет. — Е. Е.) Когда я учился в Оксфорде, я играл в русскую рулетку...

— Слава богу, вы живы... Почему, однако, вы оставили поэзию и перешли на прозу?

— Давайте закроем окно. Слишком шумят машины, и я боюсь за вашу запись... — делкатно предложил Грин. — Я бросил поэзию, потому что писал: я плохой поэт и никогда не стану хоршим.

Я вздохнул:

— Если бы все посредственные стихотворцы поступили так в самом начале, то, может быть, было бы больше хороших поэтов. Есть такое выра-

# «НЕ СТАРАЙТЕСЬ СТАТЬ СВЯЩЕННИКОМ...»

где мы были. Однако эпиграфом к своей автобиографии мы взяли слова Кьеркегора: «Только разбойники и цыгане говорят: человек никогда не должен возвращаться туда, где уже побывал». По-моему, это неточно, даже по отношению к преступникам. Вспомним хотя бы Раскольников...

Грин пожал плечами:

— Но его возвращение на то место, где он убил старуху, лишь естественно доказывает страх вернуться туда. Когда Раскольников приходит на то же самое место, он страдает от своего возвращения, не так ли? Так что страх, можно сказать, тоже аргумент против возвращения...

— В ваших мемуарах вы написали: «Посмотрите, каким глупым я был в молодости». Но иногда мы можем быть преступно глупыми, а иногда очаровательно глупыми. Вспомним французское выражение: «О, если бы молодость знала, о, если бы старость могла!». Мудрость, разум, опыт — это тоже своего рода мощь. Как вы считаете, в чем ваша сила сейчас по сравнению с юностью?

— Я думаю, в юности у меня была более развитая зрительная память. Зато теперь я развил в себе описательные способности. В юности я был склонен к догматическим предсказаниям. Теперь я стал более гибким, более склонен к внутренним изменениям...

— Значит, теперь вы стали снисходительнее и терпимее к людям, отличающимся от вас?

В голубых глазах Грина мелькнули лукавые искорки:

— Надеюсь, что да.

Я напомнил:

— Вы однажды процитировали Андре Бретона, написавшего в письме Жану Кокто: «Все мои усилия направлены на то, чтобы победить скуку». Не считаете ли вы, что скука — мать многих преступлений? Грин неожиданно воскликнул:

— О да! Я думаю, что несколько раз в жизни я был спасен судьбой от того, чтобы стать преступником. К этому меня толкала именно скука, от которой я невыносимо страдаю. Но я выбрал другой путь. А если бы не стал писателем, то, наверно, стал бы преступником. Только для того, — он засмеялся, — чтобы победить всерьезную скуку...

Я продолжал:

— Творчество — это всегда преодоление скуки. Не только своей, но и общественной. Вам принадлежит высказывание: «Писательский труд — это своего рода терапия». Может ли литература, как психотерапия, спасать людей от потенциальных преступлений?

Грин не совсем уверенно ответил:

— Я не верю в такую мотивацию писательской профессии. Писатель пишет не для того, чтобы помочь человеку, а для того, чтобы помочь себе самому...

Я возразил:

— Вы сами опровергаете этот тезис многими своими книгами. Ведь и сам писатель — это часть человечества.

Грин мягко, но твердо настаивал:

— Да, конечно, он часть человечества, но даже если он

может оказаться прямым посланием, независимо от воли его создателя. Так было со многими вашими книгами, — не сдался я.

Грин согласился лишь отчасти:

— Да, читатели могут найти в произведении дух послания, но смысл писательства не в этом. Я считаю себя не создателем посланий, а просто рассказчиком. Есть и другие типы прозы — французский антропан, романы Вирджинии Вулф и прочая субъективная проза. Но я по природе — повествователь...

Я упорствовал:

— Мне кажется, вы несколько искусственно хотите себя изобразить неким объективизатором описываемых событий. Но вот возьмем вашу полную гражданскую боли книгу «Комедианты». Я бы не назвал этот роман просто повествованием. В ней слышится крик души — и вашей собственной, и тех, кто вынужден молчать под пятой диктатуры Дювалье, ибо цена крика — жизнь. Эта книга могла вам дорого обойтись. Вас не пытались убить посланцы папы Дока?

Глаза Грина как будто переключились на далекие берега Гаити. Лукавые искорки сменились в глазах отблесками костров, сжигающих книги.

— Нет, не пытались. Но, скажу по правде, я очень нервничал, пока был там, пряча замаскированную книгу. Я ведь там бывал и раньше — это не была для меня новая страна. Но атмосфера в 1963 году была страшной. Я еле-еле получил разрешение, чтобы выехать из Порт-о-Пренса на юг. Очень волновался, потому что убить меня было довольно просто.

— А сам папа Док читал вашу книгу?

— О да! Он на меня обрушился в одной из своих речей. Но его указание распространить брошюрку про меня, где я был описан как наркоман, нефролог, человек, позорный для братской Англии, и даже человек, эскалация гонимых вооружений — о какой разумности всего этого можно вести речь? Мне кажется, что в данном случае Грин попытался выдать желаемое за сущее.

— А чем мы, писатели мира, могли бы помочь взаимопониманию народов? Или мы ошибаемся и слишком преувеличиваем свою роль в предотвращении войн?

— Сказать, что мы всемогущи, действительно значило бы преувеличить свою роль. Я не верю, что литература имеет большое влияние на политику, — сказал Грин.

— Почему? — вырвалось у меня. Внутренне я никогда не был согласен с такой позицией. Конечно, литература и политика — разные профессии. Но разве не благодаря воспитанию литературой выдвигаются многие прогрессивные политические идеи? Разве русская литература девятнадцатого века не помогла отмене крепостного права? Однако навязывать свои взгляды Грину — человеку другой среды, другого воспитания — я не мог все-таки это он давал мне интервью, а не я ему.

— Мы не педагоги, у нас нет опыта политической власти, — пожал плечами Грин. — Наша

Евг. ЕВТУШЕНКО

# «НЕ СТАРАЙТЕСЬ СТАТЬ СВЯЩЕННИКОМ...»

## СТАТЬ



В гостях у ГРАМА ГРИНА

жамся мы, англичана, на моя чашка чаю. Нравится мне Брайан Мор — ирландский писатель, живущий теперь в США. Очень трудно говорить о живых, когда невольно думаешь о тех, кто еще только вчера был жив. Я очень высоко ценил Ивлина Во...

— А английские поэты?

— Многим не нравится книга Теда Хьюза «Вороны». А вот мне понравилась. Люблю Филипа Ларкина. Но никто еще не заменил ушедших Одена и Элюта.

— Почему английские читатели так мало покупают поэтические книги?

Грин вздохнул:

— Видимо, потому, что они не считают поэзию частью своей жизни.

Писатель должен обладать огромным терпением. Писатель должен ясно осознавать, что его профессия будет причинять ему боль, а иногда швырять его в одиночество. Это та профессия, когда человек всю свою жизнь старается, одновременно сознавая, что ему мало что удается. Одно из самых болезненных ощущений — когда перестаешь быть молодым писателем и чувствуешь тяжесть возраста. Они! — можно начать копировать самого себя, как это случилось с Хемингуэем. Копирование его разрушило. Еще одно болезненное состояние — когда не пишется. Я очень любил венгерского писателя коммуниста Тибора Дери. Мы познакомились когда-то на одной вечеринке и сразу понравились друг другу, заговорив о том состоянии, когда не пишется. Я спросил его: «Страдаете ли вы в такие минуты?» Он ответил: «Еще как! Мне не пишется уже десять дней». Я засмеялся: «Боже мой, мне не пишется уже полгода». Он мне тогда посоветовал: «Сядите в утреннее время за стол, берите ручку и белый лист бумаги, выпишите большой стакан виски и начинайте писать все, что придет в голову...» Конечно, это шутка. Не начинайте писать, если можете не писать. Не старайтесь стать писателем. То же самое я сказал бы человеку, который во что бы то ни стало хочет быть священником: «Не старайтесь стать священником, если можете им не стать. Не пишете без чувства необходимости. Но если оно возникло и не уходит, надо четко понять, что впереди очень трудная жизнь. Может быть, профессия писателя сделает вашу жизнь более комфортабельной, но никакой внешней комфорт не сможет смягчить тяжесть ваших страданий от внутренних неудач... Ну вот, кажется, и все. Да и пенка, кстати, кончилась...

Назовем интервью так: «Не старайтесь стать священником», — предложил я.

Грин засмеялся:

— Подумают, что это антирелигиозная статья. Впрочем, давайте. А не попадет ли вам от редакции, если интервью не записалось?

Интервью, к счастью, записалось. В самолете я со страхом нажал кнопку воспроизведения и услышал свой чудовищный английский вперемежку с гриновским оксфордским произношением. Но с кассетой продолжали происходить чудеса. При расшифровке такта в связи со слабостью звука, зашумленного машинками, была допущена невероятная путаница. Понадеявшись на то, что японский магнитофон наконец-то смирился, я взял его с собой на Кавказ и скрупулезно вместе с женой расшифровывал по слову дня три. Наконец, магнитофон сыграл новую шутку — исчез звук. Я был вне себя от страха, что запись стерлась, ринулся в соседний дом отдыха, откуда раздавались оглушительные звуки записей из репродуктора, установленных на пляже над облупленными носами отдыхающих. Да, магнитофон здесь был, но, к сожалению, он стоял прямо на кухне, рядом с раскаленной плитой, пахнувшей шашлыками. Духота была невыносимой. Шипение сковородочных шашлычков заглушало голос Грина, и без того еле слышимый за ревом антибских автомобилей. Кроме того, появившийся некто из замдиректора выставил меня из кухни как антисанитарное явление.

Я чуть не плакал от отчаяния, пока не нашелся один местный грузин, владелец «Жигулей» с кассетным советским магнитофоном. Я встал туда японскую кассету и — о, чудо! — из нее раздался отчетливый голос Грина. Гордый за ответственную технику, я досрочно расшифровывал интервью в машине, стоявшей на пустынном пляже, в то время как грузин и его друзья мирно распивали бутылку «Циндандали» на приборной гальке, сзаренной величием опускающимся в море солнцем. Грузин — жестяк по

профессии — подошел ко мне.

— Это кто? — спросил он, услышав голос Грина.

— Грэм Грин, английский писатель.

— А кто другой?

— Это я...

— А ты знаком с ним?

— Как видишь.

— Я читал его «Наш человек в Гаване». Хорошо пишет... Сколько ему лет?

— Семьдесят шесть.

— Скажи ему, пусть приезжает в Грузию. У нас он проживет до ста пятидесяти.

У Грама Грина много читателей в Советском Союзе. Один из них — этот грузин-жестяк.

Я приседаюсь к его пригласению.

— Я замучил вас своими вопросами, — сказал я Грину. — Последний вопрос, а вернее — просьба. Закончим интервью вашим «посланием» начинающим писателям. Я думаю, им был бы важен ваш совет...

Грин пытался вежливо уклониться:

— Я же вам говорил, что не люблю «посланий»... Кроме того, не чувствую себя вправе давать советы молодым русским писателям, потому что недостаточно знаю условия их жизни.

— А начинающим писателям вообще?

Грин понял, что моя просьба неутомима, и сосредоточился. Вот что сказал он в заключение нашей беседы:

Писатель должен обладать огромным терпением. Писатель должен ясно осознавать, что его профессия будет причинять ему боль, а иногда швырять его в одиночество. Это та профессия, когда человек всю свою жизнь старается, одновременно сознавая, что ему мало что удается. Одно из самых болезненных ощущений — когда перестаешь быть молодым писателем и чувствуешь тяжесть возраста. Они! — можно начать копировать самого себя, как это случилось с Хемингуэем. Копирование его разрушило. Еще одно болезненное состояние — когда не пишется. Я очень любил венгерского писателя коммуниста Тибора Дери. Мы познакомились когда-то на одной вечеринке и сразу понравились друг другу, заговорив о том состоянии, когда не пишется. Я спросил его: «Страдаете ли вы в такие минуты?» Он ответил: «Еще как! Мне не пишется уже десять дней». Я засмеялся: «Боже мой, мне не пишется уже полгода». Он мне тогда посоветовал: «Сядите в утреннее время за стол, берите ручку и белый лист бумаги, выпишите большой стакан виски и начинайте писать все, что придет в голову...» Конечно, это шутка. Не начинайте писать, если можете не писать. Не старайтесь стать писателем. То же самое я сказал бы человеку, который во что бы то ни стало хочет быть священником: «Не старайтесь стать священником, если можете им не стать. Не пишете без чувства необходимости. Но если оно возникло и не уходит, надо четко понять, что впереди очень трудная жизнь. Может быть, профессия писателя сделает вашу жизнь более комфортабельной, но никакой внешней комфорт не сможет смягчить тяжесть ваших страданий от внутренних неудач... Ну вот, кажется, и все. Да и пенка, кстати, кончилась...

Назовем интервью так: «Не старайтесь стать священником», — предложил я.

Грин засмеялся:

— Подумают, что это антирелигиозная статья. Впрочем, давайте. А не попадет ли вам от редакции, если интервью не записалось?

Интервью, к счастью, записалось. В самолете я со страхом нажал кнопку воспроизведения и услышал свой чудовищный английский вперемежку с гриновским оксфордским произношением. Но с кассетой продолжали происходить чудеса. При расшифровке такта в связи со слабостью звука, зашумленного машинками, была допущена невероятная путаница. Понадеявшись на то, что японский магнитофон наконец-то смирился, я взял его с собой на Кавказ и скрупулезно вместе с женой расшифровывал по слову дня три. Наконец, магнитофон сыграл новую шутку — исчез звук. Я был вне себя от страха, что запись стерлась, ринулся в соседний дом отдыха, откуда раздавались оглушительные звуки записей из репродуктора, установленных на пляже над облупленными носами отдыхающих. Да, магнитофон здесь был, но, к сожалению, он стоял прямо на кухне, рядом с раскаленной плитой, пахнувшей шашлыками. Духота была невыносимой. Шипение сковородочных шашлычков заглушало голос Грина, и без того еле слышимый за ревом антибских автомобилей. Кроме того, появившийся некто из замдиректора выставил меня из кухни как антисанитарное явление.

Я чуть не плакал от отчаяния, пока не нашелся один местный грузин, владелец «Жигулей» с кассетным советским магнитофоном. Я встал туда японскую кассету и — о, чудо! — из нее раздался отчетливый голос Грина. Гордый за ответственную технику, я досрочно расшифровывал интервью в машине, стоявшей на пустынном пляже, в то время как грузин и его друзья мирно распивали бутылку «Циндандали» на приборной гальке, сзаренной величием опускающимся в море солнцем. Грузин — жестяк по

профессии — подошел ко мне.

— Это кто? — спросил он, услышав голос Грина.

— Грэм Грин, английский писатель.

— А кто другой?

— Это я...

— А ты знаком с ним?

— Как видишь.

— Я читал его «Наш человек в Гаване». Хорошо пишет... Сколько ему лет?

— Семьдесят шесть.

— Скажи ему, пусть приезжает в Грузию. У нас он проживет до ста пятидесяти.

У Грама Грина много читателей в Советском Союзе. Один из них — этот грузин-жестяк.

Я приседаюсь к его пригласению.

Писатель должен обладать огромным терпением. Писатель должен ясно осознавать, что его профессия будет причинять ему боль, а иногда швырять его в одиночество. Это та профессия, когда человек всю свою жизнь старается, одновременно сознавая, что ему мало что удается. Одно из самых болезненных ощущений — когда перестаешь быть молодым писателем и чувствуешь тяжесть возраста. Они! — можно начать копировать самого себя, как это случилось с Хемингуэем. Копирование его разрушило. Еще одно болезненное состояние — когда не пишется. Я очень любил венгерского писателя коммуниста Тибора Дери. Мы познакомились когда-то на одной вечеринке и сразу понравились друг другу, заговорив о том состоянии, когда не пишется. Я спросил его: «Страдаете ли вы в такие минуты?» Он ответил: «Еще как! Мне не пишется уже десять дней». Я засмеялся: «Боже мой, мне не пишется уже полгода». Он мне тогда посоветовал: «Сядите в утреннее время за стол, берите ручку и белый лист бумаги, выпишите большой стакан виски и начинайте писать все, что придет в голову...» Конечно, это шутка. Не начинайте писать, если можете не писать. Не старайтесь стать писателем. То же самое я сказал бы человеку, который во что бы то ни стало хочет быть священником: «Не старайтесь стать священником, если можете им не стать. Не пишете без чувства необходимости. Но если оно возникло и не уходит, надо четко понять, что впереди очень трудная жизнь. Может быть, профессия писателя сделает вашу жизнь более комфортабельной, но никакой внешней комфорт не сможет смягчить тяжесть ваших страданий от внутренних неудач... Ну вот, кажется, и все. Да и пенка, кстати, кончилась...

Назовем интервью так: «Не старайтесь стать священником», — предложил я.

Грин засмеялся:

— Подумают, что это антирелигиозная статья. Впрочем, давайте. А не попадет ли вам от редакции, если интервью не записалось?

Интервью, к счастью, записалось. В самолете я со страхом нажал кнопку воспроизведения и услышал свой чудовищный английский вперемежку с гриновским оксфордским произношением. Но с кассетой продолжали происходить чудеса. При расшифровке такта в связи со слабостью звука, зашумленного машинками, была допущена невероятная путаница. Понадеявшись на то, что японский магнитофон наконец-то смирился, я взял его с собой на Кавказ и скрупулезно вместе с женой расшифровывал по слову дня три. Наконец, магнитофон сыграл новую шутку — исчез звук. Я был вне себя от страха, что запись стерлась, ринулся в соседний дом отдыха, откуда раздавались оглушительные звуки записей из репродуктора, установленных на пляже над облупленными носами отдыхающих. Да, магнитофон здесь был, но, к сожалению, он стоял прямо на кухне, рядом с раскаленной плитой, пахнувшей шашлыками. Духота была невыносимой. Шипение сковородочных шашлычков заглушало голос Грина, и без того еле слышимый за ревом антибских автомобилей. Кроме того, появившийся некто из замдиректора выставил меня из кухни как антисанитарное явление.

Я чуть не плакал от отчаяния, пока не нашелся один местный грузин, владелец «Жигулей» с кассетным советским магнитофоном. Я встал туда японскую кассету и — о, чудо! — из нее раздался отчетливый голос Грина. Гордый за ответственную технику, я досрочно расшифровывал интервью в машине, стоявшей на пустынном пляже, в то время как грузин и его друзья мирно распивали бутылку «Циндандали» на приборной гальке, сзаренной величием опускающимся в море солнцем. Грузин — жестяк по

профессии — подошел ко мне.

— Это кто? — спросил он, услышав голос Грина.

— Грэм Грин, английский писатель.

— А кто другой?

— Это я...

— А ты знаком с ним?

— Как видишь.

— Я читал его «Наш человек в Гаване». Хорошо пишет... Сколько ему лет?

— Семьдесят шесть.

— Скажи ему, пусть приезжает в Грузию. У нас он проживет до ста пятидесяти.

У Грама Грина много читателей в Советском Союзе. Один из них — этот грузин-жестяк.

Я приседаюсь к его пригласению.

Писатель должен обладать огромным терпением. Писатель должен ясно осознавать, что его профессия будет причинять ему боль, а иногда швырять его в одиночество. Это та профессия, когда человек всю свою жизнь старается, одновременно сознавая, что ему мало что удается. Одно из самых болезненных ощущений — когда перестаешь быть молодым писателем и чувствуешь тяжесть возраста. Они! — можно начать копировать самого себя, как это случилось с Хемингуэем. Копирование его разрушило. Еще одно болезненное состояние — когда не пишется. Я очень любил венгерского писателя коммуниста Тибора Дери. Мы познакомились когда-то на одной вечеринке и сразу понравились друг другу, заговорив о том состоянии, когда не пишется. Я спросил его: «Страдаете ли вы в такие минуты?» Он ответил: «Еще как! Мне не пишется уже десять дней». Я засмеялся: «Боже мой, мне не пишется уже полгода». Он мне тогда посоветовал: «Сядите в утреннее время за стол, берите ручку и белый лист бумаги, выпишите большой стакан виски и начинайте писать все, что придет в голову...» Конечно, это шутка. Не начинайте писать, если можете не писать. Не старайтесь стать писателем. То же самое я сказал бы человеку, который во что бы то ни стало хочет быть священником: «Не старайтесь стать священником, если можете им не стать. Не пишете без чувства необходимости. Но если оно возникло и не уходит, надо четко понять, что впереди очень трудная жизнь. Может быть, профессия писателя сделает вашу жизнь более комфортабельной, но никакой внешней комфорт не сможет смягчить тяжесть ваших страданий от внутренних неудач... Ну вот, кажется, и все. Да и пенка, кстати, кончилась...

Назовем интервью так: «Не старайтесь стать священником», — предложил я.

Грин засмеялся:

— Подумают, что это антирелигиозная статья. Впрочем, давайте. А не попадет ли вам от редакции, если интервью не записалось?

Интервью, к счастью, записалось. В самолете я со страхом нажал кнопку воспроизведения и услышал свой чудовищный английский вперемежку с гриновским оксфордским произношением. Но с кассетой продолжали происходить чудеса. При расшифровке такта в связи со слабостью звука, зашумленного машинками, была допущена невероятная путаница. Понадеявшись на то, что японский магнитофон наконец-то смирился, я взял его с собой на Кавказ и скрупулезно вместе с женой расшифровывал по слову дня три. Наконец, магнитофон сыграл новую шутку — исчез звук. Я был вне себя от страха, что запись стерлась, ринулся в соседний дом отдыха, откуда раздавались оглушительные звуки записей из репродуктора, установленных на пляже над облупленными носами отдыхающих. Да, магнитофон здесь был, но, к сожалению, он стоял прямо на кухне, рядом с раскаленной плитой, пахнувшей шашлыками. Духота была невыносимой. Шипение сковородочных шашлычков заглушало голос Грина, и без того еле слышимый за ревом антибских автомобилей. Кроме того, появившийся некто из замдиректора выставил меня из кухни как антисанитарное явление.

Я чуть не плакал от отчаяния, пока не нашелся один местный грузин, владелец «Жигулей» с кассетным советским магнитофоном. Я встал туда японскую кассету и — о, чудо! — из нее раздался отчетливый голос Грина. Гордый за ответственную технику, я досрочно расшифровывал интервью в машине, стоявшей на пустынном пляже, в то время как грузин и его друзья мирно распивали бутылку «Циндандали» на приборной гальке, сзаренной величием опускающимся в море солнцем. Грузин — жестяк по